

Дневники княгини Дабижа*

Княгиня де Каэр

(Екатерина Ростковская, урожд. кнж. Дабижа)

Свет, сумерки, тьма одной русской жизни

Перевод с французского Веры Тарасенковой
под редакцией Михаила Талалая

Глава V

Полный покой и величие царят высоко в горах, где снег столь чист, бел и неподвижен. Однако достаточно простого колебания воздуха, слова, произнесенного довольно громко, чтобы от гор отделилась глыба снега и, теряя равновесие, не имея возможности остановить свое падение, начала скользить в пропасть, унося все на своем ужасном пути.

В те дни, когда впечатления и чувства дошли до предела, трудно было отдать себе отчет и понять, что происходило на Севере России, что предпринимало правительство.

Мысли устремлялись к лейтенанту Шмидту. Его имя было у всех на устах. Для одних он являлся героем, для других – предателем. На Юге России, где разыгралась эта трагедия, возмущение приняло

* Окончание. Начало в кн. 49.

тревожные формы – политические страсти разгорались все больше. Однажды вечером в одесском театре во время представления пьесы Шиллера «Вильгельм Телль» возбужденная публика потребовала исполнения оркестром «Марсельезы». Безудержное «ура!» в честь Шмидта последовало за гимном. Офицеры покинули зал...

Несмотря на все противоречивые новости, доходившие до нас, мы не знали ничего положительного ни о Петре Шмидте, ни о его сыне. На следующий день после моего визита к главнокомандующему я осталась дома одна – с теми же мыслями в голове, с тревогой на сердце. Наступило девять часов вечера. В те смутные времена люди избегали выходить из дома с наступлением ночи, поэтому я была очень удивлена, услышав звонок в дверь и звон шпор. Дверь салона открылась, и высокая стройная фигура генерала появилась передо мной.

«Как? – воскликнула я. – Вы? В такой час? Совершенно одни! Эдакая неосторожность!»

«Я пришел совсем ненадолго, – ответил он мне, – чтобы серьезно поговорить о вашем желании поехать в Севастополь».

Накануне в самом деле я сказала ему, что для получения новостей о лейтенанте Шмидте мне не остается ничего иного как поехать в Севастополь. Генерал уже не вел себя подобно официальному лицу и говорил со мной по-дружески.

«Послушайте меня. Не делайте опрометчивого шага. Я понимаю вашу тревогу. Но зачем заставлять говорить о вас в связи с этим случаем? Чего вы добиваетесь? И что вы рассчитываете этим сделать?»

«Там, на месте, – ответила я, – мне будет проще узнать, что с ним случилось, и где он находится».

Генерал прервал меня: «Мне известно место его заточения, только, как я вам уже объяснил, не имею права говорить об этом. Разве не достаточно знать, что он жив?»

«А его сын?»

«Тоже».

«Ему угрожает смертная казнь?»

«Он ее заслуживает, особенно как офицер».

«Не могу себе представить, – сказала я, – чтобы он, всегда лояльный и справедливый, действовал как «предатель», судя по

вашим словам. Для меня его поступок – это безумие. Он всегда был такой экзальтированной натурой! Есть ли у него надежда на помилование?»

«Он того не заслуживает, однако все зависит от милости его величества».

Каким бы положительным не показался этот визит, он не успокоил меня. На следующий день слуга доложил мне, что одна дама хотела видеть меня, но она не осмеливалась войти и осталась на лестнице, плача.

«Спросите же ее имя», – сказала я.

«Дама отказывается назвать себя. Она хочет только, чтобы вы ее приняли».

Я вышла на лестницу и увидела сестру лейтенанта, мою давнюю подругу.* По лицу Ани было видно, как глубоко она страдала: заплаканные глаза, дрожащие губы. Она робко прошептала: «Ты позволишь сестре «предателя» войти к тебе?»

«Замолчи», – я обняла ее.

«Знаешь, – продолжала она, – он безумец, да, безумец. Его поступок – это поступок сумасшедшего, нормальные люди так не поступают. Я приехала из Крыма, и все, что тут слышу, увеличивает мои опасения. Говорят, что он арестован на борту броненосца, командование которым взял на себя. Сын, присоединившийся к нему, тоже арестован».

Сестра Петра Шмидта вела себя безупречно. Без малейшей передышки она курсировала от одного чиновника к другому, между Одессой и Петербургом, чтобы добиться смягчающих обстоятельств для своего брата.

Граф Витте, приняв Аню, пообещал сделать все возможное во избежание смертной казни: по возвращении у нее появилась надежда. С радостью она передала Петру эту хорошую новость. Так шли дни, полные тревоги... Аня уехала, чтобы встретиться с мужем и детьми, но вскоре вернулась для продолжения своего трудного и достойного восхищения дела. Сколько раз в те черные дни я думала прийти ей на помощь и разделить ее тревогу о судьбе брата!

Шмидт написал мне, что хотел бы увидеться. Но я не имела никакого права на встречу – разрешение на нее давалось толь-

* Анна Петровна Шмидт, в замужестве Избаш.

ко близким родственникам. Одним зимним утром курьер командующего принес телеграмму, посланную из Севастополя от адмирала, командующего эскадрой, с разрешением посетить в очаковской крепости лейтенанта Шмидта. Я поняла, что мне оказали эту милость по просьбе моего доброго знакомого генерала. И вот уже я в санях, несмотря на ужасную непогоду – надо скорее добраться до корабля, отправлявшегося в Очаков.

Море было свинцовым, корабль плыл сквозь снежную пургу. Спустя четыре часа я высадилась в Очакове, небольшом городке, над которым нависло тяжелое низкое небо, и оказалась одна на берегу, не зная, куда идти. Несколько крестьянских саней, крытых соломой, – вот и все, чем я могла воспользоваться. Мы начали медленно подниматься на санях по скользкой дороге в поисках приличной гостиницы. Добравшись до более чем скромного здания, я вошла в небольшую комнатку, узкую и холодную, указанную мне приветливой женщиной. Снег влетал в комнату в дверь, захлопнувшуюся за мной. Я осталась одна, обессиленная долгою дорогою, измученная тем, что меня ждало впереди. Сев на единственный стул возле стола, я даже не сняла шубу – настолько было холодно.

Раздался стук в дверь, и вошел офицер полиции. Он выразил мне сожаление по поводу того, что не встретил меня по прибытию (комендант крепости, уведомленный из Севастополя, послал его меня встретить). Я сказала, что хочу видеть коменданта, и мы отправились к нему на санях. Комендант сообщил мне, что завтра в три часа миноносец доставит меня на остров, где находился лейтенант. На мои расспросы он отвечал, что Петр Шмидт держался очень мужественно, и что сам он узнал его лучше, читая его корреспонденцию. Хотя он строго судил офицера, тем не менее, выразил сожаление, что такие умные и сердечные люди, став жертвами утопии, могут лишиться жизни в бесполезных попытках служить своей Родине.

Не буду даже говорить, какую ночь я провела. На следующий день к трем часам за мной пришел офицер с вооруженной охраной. Мы поднялись на миноносец. Как рассказать, что я, простая женщина, испытывала – одна на этом миноносце и при таких обстоятельствах! Море между берегом и островом было покрыто льдинами. Мы медленно продвигались вперед. Я видела, как все отчетливее вырастает крепость на фоне беспокойной пучины.

Миноносец причалил, и я замерла в нерешительности, не зная, как сойти на берег.

«Надо прыгать!» – сказал офицер, протягивая мне руку. Спрыгнув в рыхлый снег, доходивший мне до колен, я пошла под солдатским конвоем по казарме, охраняемой пушками. «Последняя дверь в углу», – сказал мне офицер. Повернувшись, сквозь решетку окна я увидела бледное, но улыбающееся лицо лейтенанта. Время, пока открывали замки и решетки, тянулось бесконечно. Наконец дверь распахнулась. Он стоял передо мной по-прежнему в форме и с эполетами.

«Ты! – воскликнул он. – Как замечательно, что ты доставила мне эту радость!»

Я не знала, что сказать, смущенная, что видела его в таком положении. К тому же мы были не одни: офицер сел на стул, а двое жандармов охраняли нас у двери. Я осмотрелась: узкая кровать, три табурета, белый деревянный стол, в углу печка. В окне виднелось бесконечное Черное море...

Заметив мое волнение, Петр начал: «Надо, чтобы ты привыкла разговаривать со мной, не обращая внимания на господина офицера, который, впрочем, человек хороший. Я его вижу каждый день. Он читает мои письма, он знает, что я думаю. Он читал и письмо тебе, таким образом, ты ему знакома. Надо привыкнуть к мысли, что никогда больше, вплоть до моего освобождения или до моей смерти, у меня не будет возможности ни говорить, ни слушать других без свидетелей. Забудем, что тут кто-то есть!». Он нервно ходил по огромной сводчатой комнате, куря сигарету: «В момент твоего прибытия я готовил свою защиту, намереваюсь сделать это сам».

Сломав карандаш, он попросил у одного из жандармов перочинный нож. Жандарм, забеспокоившись, неуверенно спросил: «Для чего, лейтенант?» – «Чтобы перерезать себе горло», – ответил он ему.

«Петя, – сказала я, – даже самые ужасные события не меняют тебя!»

«К счастью, это так!»

Я посмотрела на офицера. Он тоже улыбался, взгляд его казался добрым.

Расспросив меня о детях, моей жизни и о Романовщине, пребывание в которой стало, по его словам, «апофеозом его жизни», Шмидт заговорил крайне озабоченно о своей бедной сестре и о сыне...

«Тебе отлично известно, – начал он, садясь за стол и продолжая вертеть карандаш в руках, – что целью моей жизни всегда было добро. Не знаю, что за проклятие висит надо мною, но я ничего не добился. Когда я хотел делать добро, причинял только зло. Любопытная вещь: у меня есть дар читать в людских душах, а сейчас вижу, что в своей собственной душе я ничего не понимаю! Меня называют предателем, и кажется, мои поступки служат тому доказательством, но если бы знали, как я предан императору, хотя ненавижу окружающих его людей. Вот почему я отправил царю телеграмму из Севастополя: «флот вашего величества у ваших ног, но мы отказываемся подчиняться министрам, которые являются непреодолимой стеной между вашим величеством и вашим народом». Император никогда не прочел моей телеграммы. Очень сожалею об этом. Может быть, он понял бы мой порыв».

Он весь дрожал, настолько сильна была его боль, и в итоге сломал пополам карандаш, который держал в руках.

«Если бы ты знала! Надобно тебе рассказать...»

«Успокойся», – сказала я ему, видя, как дрожат его руки.

Он поймал мой взгляд и сказал, улыбаясь: «А, мои руки... пусть дрожат! Я нервничаю из-за последних событий. Мои друзья хотели даже извлечь из этого выгоду для меня. Врач, осматривавший меня в тюрьме, обратил внимание на эти симптомы, желая доказать, что я человек ненормальный. Как я мог бы допустить подобное? Спасти такую бесчестную уловку? Получается, делу народа служил безумец?»

Закурив другую сигарету, он продолжал: «Царь принял долгожданную конституцию. Возможно ли, чтобы его благородному поступку чинило препятствия недоброжелательное правительство, а народ был обманут?».

«Но извини, на благородный поступок царя ответили водружением красного знамени!»

«Это недоразумение. Ты знаешь, не правда ли, что я был избран делегатом рабочих. Я сам видел демонстрации, во время которых

водружали красный флаг. Он служил лишь символом свободы. Товарищи упрекали меня в том, что я принял участие в одной из этих процессий. Я им возражал: «Почему бы и вам не поступить так же? Это шествует свобода, провозглашенная царем!». Тебе известно о моем аресте после речи, что я произнес на кладбище, и о моем освобождении. Мне хотелось бы найти способ успокоить взбунтовавшихся, отправившись прямо в казармы. Мне бы удалось это, настолько большой была моя популярность. Я собирался ехать в Москву, когда за мной срочно послали матроса, сообщившего мне, что весь флот восстал, что меня ждут. «Вы поклялись быть с нами!» – сказал он мне. Я чуть колебался, но потом в надежде избежать какой бы то ни было демонстрации поехал. Группа моряков ждала меня на пристани. Сев в лодку, я прибыл на броненосец, весь расцвеченный красными флагами. Меня встретили с воодушевлением, с криками: «Да здравствует красный адмирал!». В то время адмиральский флаг был поднят на мачте броненосца «Очаков», командование которым я принял на себя. События разворачивались дальше. Портовая артиллерия дала залп по нашему кораблю. Желая остановить сражение, я сообщил адмиралу, что принимаю на себя командование восстанием, намереваясь дать ему понять, что я был еще в силах усмирить начавшийся бунт. На одном из миноносцев я объехал все корабли. Меня встречали восторженно. А затем... не могу сказать, что произошло, я сам не понял. Удалось ли офицерам захватить снова свои позиции? Не знаю. Но по «Очакову» открыли огонь. Вскоре мы очутились в адском кругу. Начался пожар. Сквозь дым я видел, как гибли несчастные люди. Вдруг я услышал крик: «Папа!». Мой сын был рядом со мной! Ему удалось добраться до меня. Мы оба находились там, держась за руки, оба свидетели ужасной трагедии. Вокруг меня уже никого не оставалось, все спасались от пожара. Тогда и мы с сыном бросились в воду. Я поранил ногу о лодку, не замеченную в темноте. Вода была ледяной, мы плыли рядом, не зная куда. Нас заметили, так как вокруг засвистели пули, поднимая фонтаны воды. Мимо проплыл матрос, весь в крови, половина его лица была раздроблена... Красный флаг исчез: эскадра сдалась. Тогда я увидел небольшой миноносец, на котором все еще развевался флаг. Он и подобрал нас. В тот момент раздался взрыв, несколько человек были убиты. Я остался жив,

к сожалению. Спустя какое-то время лодка с офицерами пришвартовалась к наполовину затопленному миноносцу. Меня вместе с сыном схватили и доставили на борт адмиральского корабля. По приказу адмирала нас заперли в каюте. О, что это была за ночь! Боль в ноге, холод, резкий электрический свет, который слепил меня, и моральные страдания, что тут можно сказать! Я лег на пол, прижимая к себе сына, чтобы нам согреться вдвоем! Дверь открылась – нам бросили одеяла. Я уже начал терять ощущение реальности, когда в каюту вошел офицер. Помню, что меня подняли матросы, что нас сопроводили на корабль, а затем перевезли в крепость. Там я очнулся. Отчетливо помню первый допрос, длившийся всю ночь. Наконец меня заточили здесь, и я жду».

Он повернулся к углу комнаты и показал мне надпись, сделанную им на полу с помощью обгоревшей палочки: «Здесь был заключен за народное дело лейтенант Шмидт с такого-то числа по...» и вопросительный знак.

Петр закончил. Что я могла сказать? Полное молчание воцарилось вокруг нас, ни офицер, ни жандармы не шелохнулись. Все, подобно мне, находилось под впечатлением услышанного.

«Время», – сказал офицер, поднимаясь.

«Ты вернешься? – спросил меня Петя. – Для меня еще действительно разрешение видеть тебя. Не так ли, господин офицер? Вам придется проводить госпожу».

«Я только выполняю свой долг», – ответил офицер.

Последнее пожатие рук, последний взгляд, и дверь закрылась.

Мы двинулись той же ледяной и заснеженной дорогой, не проронив ни слова. Наступал зимний вечер. Я попросила офицера зайти ко мне, ибо не могла оставаться одна. Я не ошиблась – это был добрый человек.

«Вы страдаете, понятное дело, ведь он для вас как брат. Но я нахожусь на государственной службе, мне предстоит выполнять очень серьезное дело, и тем не менее...»

«И тем не менее», – повторила я.

«И тем не менее, – продолжил он, – в день, когда он должен будет уйти, уйти навсегда, я буду тоже оплакивать его как брата. Я осмеливаюсь сказать вам о моих переживаниях, так как видел ваши».

На следующий день в тот же час и тем же образом я добралась до крепости – в последний раз. Петр, ждавший меня у окна, казался мне более бодрым. Он работал всю ночь над своей защитой и чувствовал удовлетворение от работы. Прочитав мне отрывок, где он подчеркивал свою вину и защищал матросов, часть которых тоже была арестована, Петр спросил меня об общественном мнении, о том, что думают о нем, все ли обвиняют его...

«Очевидно, – говорил он мне, – что с политической точки зрения и с точки зрения военной дисциплины, я абсолютно виновен и заслуживаю смертной казни... Но если бы только могли увидеть и понять, что произошло в моей душе, то меня бы не покрывали столькими оскорблениями и не называли бы предателем... Не могу представить, что наступит день, когда я, живое и мыслящее существо, способный работать и еще молодой, прекращу существование по воле неизбежной силы, и что все, что составляет мою личность, какой бы презренной и маленькой она ни была в этой огромной вселенной, будет уничтожено. Я не боюсь смерти. Но меня особо возмущает, что некоторые личности незаконно присваивают себе право положить конец человеческой жизни... Особенно, когда чувствуешь в себе столько сил... Жить! – говорил он, отчаянно сжимая руки. – Жить, даже с обожженными крыльями. Быть сосланным на другой конец света, но только на Родине. Жить можно везде и претерпевать многое, когда еще живет надежда на счастье... Еще одно дело. Ты сохранила переписку с профессором М*** – этим великим и светлым умом? Не скажешь ли ты ему в следующем письме, что есть такой лейтенант Шмидт, который находится, возможно, накануне своей смерти, что сей лейтенант посылает ему свой последний привет и выражает свое восхищение. Скажи ему, что его портрет всегда стоял на моем письменном столе, что он всегда был моим учителем в том, что касается моих политических убеждений, и если я останусь в живых, то буду всегда его учеником...»

«Обещаю тебе это», – сказала я.

Крайне взволнованный, покусывая губы, он положил мне руки на плечи, глядя прямо в глаза: «Скажи мне правду. Ты должна ее знать. Буду ли я приговорен? У меня нет больше никакой надежды? Скажи мне правду, мне необходимо знать ее, ибо если нет

больше надежды, я должен привыкнуть к этой мысли. Я думаю об этом. Для меня станет ужасным потрясением, если узнаю об этом внезапно. Поклянись же, что скажешь мне правду...».

Задыхаясь и восставая против реальности, я взглянула на него с преувеличенной радостью и уверенным голосом заявила: «Нет абсолютно никакого сомнения. Мы все уверены, что ты будешь жить».

Слезы потекли у него из глаз, и вдруг он начал напевать мелодию «Лунная ночь», которую я слышала в Романовщине: «Когда, душа моя, ты стремишься погибнуть или полюбить...».

Мы стояли напротив друг друга, улыбаясь, – я со смертельной тоской на душе, он со смертью, ожидавшей его. Надо было уезжать, пришло время прощаться.

«До свидания, Петя!»

«До свидания, до свидания!» – крикнул он мне, когда дверь закрывалась, в последний раз для меня. Еще на какое-то мгновение я увидела его бледное лицо за решетчатым окном. Он помахал мне в последний раз. Я шла, ничего не видя перед собой.

«Мадам, – сказал мне один из сопровождавших меня солдат, – неужели возможно, что могут убить такого человека, как лейтенант Шмидт?»

Больше я никогда его не видела. По просьбе графа Витте его величество, следуя порыву своего сердца, был готов помиловать Шмидта. Но адмирал Т*** телеграфировал императору, что не сможет отвечать за флот, если будет оказано помилование.

Спустя три месяца я узнала из газет, что лейтенант Шмидт был расстрелян на одном пустынном острове. Он умер достойно, как и подобало ему. Накануне казни его привезли на остров. Ночь стояла холодной, звезды сверкали. Он пристально смотрел на них. На борту находился священник, Петр долго говорил с ним. В момент исполнения приговора он отказался от завязывания глаз. Занималась заря. Его возбужденный взгляд остановился на этом последнем луче света, и дрожащим голосом он прокричал последние слова: «Друзья, цельтесь как следует! Прямо в сердце!».

Спустя несколько дней я получила небольшой конверт. В нем был клочок бумаги с нацарапанными карандашом словами: «Сегодня я приговорен к смерти. Прощай, дорогая сестра. Твой Петя Ш.».

Часть II

Глава I

Санкт-Петербург переименован в Петроград, немецкое «бург» заменено славянским «град». Под снежным покровом город переживал тревожную зиму 1916-1917 годов. Со все возрастающей тревогой следили мы за прессой, раздраженной, часто противоречивой, трубившей по всей империи об успехах и поражениях армий, о победах и тяжких потерях, о нечеловеческих усилиях, объединенных под знаменем отваги. Молодежь продолжала уходить на войну, оставляя ей жизни и души. Война снимала богатый урожай, священную жатву – на полях, где позже взросли ковры кровавых цветов, багровых маков.

Лишь в битве познается сила врага и его сущность. Война позволила узнать и возненавидеть тевтонцев. Под своими железными касками они оказались совсем иными, чем классические рыцари старой Германии, красивые легенды которой восхваляли их благородство и честь. Немцы тоже любили свои легенды, но искали легкой победы, даже путем поддержки у презренных большевиков.

Мы сражались вместе с союзниками с высоко поднятой главой, с сердцем, горящим гордостью и гневом, останавливая своими телами нашествие врага, несшего рабство. Сражались с огнем, окружившим нашу страну, – наши яростные и возвышенные души, презиравшие смерть и до последнего вздоха защищавшие Родину. Однако это немецкое нашествие было не таким наглым и опасным, как красный ураган, стремящийся поглотить всю вселенную, захватив сначала Россию и погрузив некогда богатую и процветающую страну в нищету и смерть. Перед лицом такой опасности миру необходим союз – необходим хотя бы и для защиты культуры от разрушительного нашествия варваров. Почему бы народам не протянуть друг другу руку в братском жесте «auld lang syne»*, сила которого объединит сердца, понимающие друг друга даже через океан? Не пришло ли время оказать помощь тем, чья жизнь полна страданий? Не пробил ли час пробуждения для рыцарей чести, вступающих в крестовый поход против

* «Мы встретимся, несмотря ни на что», старинная ирландская народная песня, популярная во многих странах (прим. пер.).

духа зла, губящего души во тьме своей мрачной империи? Россия распята – повторю вновь! Не достаточно ли ее ужасного примера тем, кто все еще следует за «Синей птицей»**, на самом деле птицей красной, что Германия внедрила в Россию, дабы разжечь огонь революции, вспыхнувший там в 1917 году!

Кто мог представить, что такое большое несчастье обрушится на нашу Родину в разгар войны! Ленин, ставленник Германии, и его безумная пропаганда, группа социалистов с невеселым и постыдным прошлым бросили страну в пропасть. Многие «интеллектуалы» – а среди них были и ученые, и известные публицисты, и люди высокой культуры – своей преступной амбицией, легкомыслием, неслыханной самоуверенностью, граничащей с глупостью, подготовили благодатное поле для большевизма, оставив затем его без борьбы и сбежав, как только опасность обернулась против них самих. Эти люди присвоили себе «право освободить Россию от невыносимого царизма» и с такой целью делали все, чтобы отравить возбужденное сознание солдата, рабочего и крестьянина ядом революции и сомнением по отношению к императору – некогда им любимому «царю-батюшке».

«Видели, как проехал наш любимый царь-батюшка?» – сказал мне однажды чрезвычайно взволнованный извозчик в Петербурге, увидев проезжавшего в экипаже императора. Русский человек не может не любить своего царя! Он родился с его образом в сердце!

Все остальное, все, что случилось, все ужасные события, бессмысленно жестокие и трагические, были только фатальным результатом отвратительных интриг, родившихся в адском воображении подлых людей! Они дискредитировали в глазах простого народа, особенно солдат, человека доброго, мягкого, необычайно честного, каким был царь Николай II – каким он оставался до самого конца своих трагических дней. Он умер как настоящий христианин, как мученик, как великий патриот, преданный всецело своей стране, преданный всецело союзникам – словом, честью, душой.

Вспоминаю один случай. Осенью 1915 года я задержалась в нашей Романовщине, очарованная прекрасной порою, а также из-за сезонных работ, потребовавших моего присутствия. В конце октября мне надо было вернуться к своим родным в Петербург, где мы жили уже несколько лет (мой сын и племянник там учились).

** Название пьесы М. Метерлинка; здесь – символ модернизма и декаданса.

Как обычно, Михайло отвез меня на станцию, откуда отправлялся на север мой ночной поезд. Было темно, но еще издали заметила необычное освещение, а небольшая всегда полутемная станция весело сверкала огнями.

«Должно быть, что-то случилось», – сказал Михайло.

«Похоже так, но что?»

«Когда приедем, узнаем», – ответил мой мудрец.

На станции я увидела взволнованных железнодорожников. Напыщенный начальник станции в новом мундире сообщил мне, что «Его величество император с наследником-цесаревичем ожидают ночью по дороге на фронт».

«А когда же будет мой поезд?»

«Пока невозможно сказать. Еще не сообщено об императорском поезде, а движение до него остановлено».

Это мне было совсем некстати! Что может быть тоскливее маленькой станции, отдаленной от человеческого жилья, затерявшейся в глубокой осенней ночи! Тянулись бесконечные часы утомительного ожидания без сна. Холодно, и не можешь думать ни о чем, оставаясь с открытыми глазами. Наконец, пришла бледная заря, затем хмурое утро с пронизывающим туманом. Из тумана постепенно вырисовывался черный оголенный лес. На платформе оказалась толпа крестьян, старых и молодых, пришедших, несмотря на ночь, на встречу с царем и охваченных желанием увидеть его.

«А маленький цесаревич тоже приедет?»

От этого вопроса их добрые лица расцветают улыбками. Но вот издали слышится стук колес приближающегося поезда, головы поднимаются, поворачиваются. Длинный до бесконечности военный состав, полный солдат, замедляет ход, и несколько офицеров, легко спрыгнув, оказываются на платформе. Поеживаясь от холода, они закуривают, их юные лица веселы и оживлены. Полк тоже ждет прибытия императора, и после его пожеланий удачи поедет дальше, навстречу судьбе. Лишь бы императорский поезд появился с опозданием, дав таким образом счастье увидеть царя всем тем, кто прибыл сюда издали, особенно солдатам. Они выстроились вдоль железной дороги – там, где должен остановиться императорский поезд. Лица солдат серьезны, улыбки не скользят по губам – на службе не до смеха. Как это

бывает тяжело иногда – почувствовать, понять, что происходит в душе другого человека!

Вдруг слышится глухой отдаленный шум, все нарастающий. Идет царский поезд! Единое чувство волнения охватывает толпу. «К ружью!» – щелканье затворов, блеск штыков, замершие в строю солдаты. Как большая молчаливая ночная птица, складывающая крылья, поезд останавливает свой быстрый полет. Абсолютная тишина: ни звука, ни движения. Только дыхание локомотива и монотонный шум капель воды с деревьев. Было еще очень рано, и царь отдыхал. Спал и цесаревич в соседнем с отцом купе. С умилением можно было разглядеть сквозь голубые занавески красивую головку ребенка, лежавшую на подушечке. Сон его был покоен и сладок, как сон счастливых детей. Он не подозревал, что солдаты, так его любившие, были здесь, рядом с ним, защищая его сон и охраняя покой своего царя... Поезд плавно среди глубокой тишины продолжил свой долгий молчаливый полет, устремляясь сквозь туман вдаль.

Рядом со мной заплакала старая крестьянка. Она только что пришла, запыхавшись от волнения, от усталости, сокрушаясь, что пропустила прибытие царя и маленького цесаревича! Я утешила ее, сказав, что эта радость не выпала никому, что невозможно было даже надеяться на то, что царь будет появляться при каждой остановке поезда, дабы приветствовать своих подданных.

«Да хранит их Господь Бог! Пусть спят спокойно, мои дорогие!» – воскликнула женщина, утирая глаза.

Военный состав тоже отъезжал. Солдаты поднимались в вагоны, лица их были серьезны, глаза грустны. На сей раз молодые офицеры не улыбались.

Глава II

Сколько счастливых и трогательных воспоминаний связано с царской семьей! Ее образ запечатлен в сердцах, страдающих за тех, кого больше нет, и пребывающих с теми, кто живет, чтобы страдать.

Мысль возвращается особенно часто к Марии Федоровне, той матери, что столько лет каждый день своей жизни, без передыш-

ки, с высочайшим мужеством сносит огромную боль. Потерянные, исчезнувшие в самых трагических условиях сыновья вместе со столькими другими близкими ее сердцу людьми... Однако она надеется несмотря ни на что, веряясь милости Всевышнего.

«Никто не может погасить в моем сердце свет Надежды», – сказала недавно Мария Федоровна. Стоицизм и вера этой избранной женщины должны помогать тем, кто ныне отчаивается. Имевшие счастье узнать императрицу Марию-Дагмар никогда не забудут ее образ, ее своеобразную женскую грацию с бесконечным очарованием, исходящим из тонкой, нежной и деликатной души.

Смогу ли я когда-нибудь забыть тот прием, который оказала мне ее величество по случаю большого горя, жестоко поразившего меня и моих детей? Вдовствующая императрица сама пригласила меня, приняв частным образом с большой сердечностью, глубочайшей симпатией и воистину материнской нежностью. Она обратилась ко мне с трогательными и сердечными словами – в той долгой встрече не было ничего официального. Я потеряла всякое понятие о том, что находилась в красивом зале под большими пальмами, что мое кресло – рядом с креслом ее величества, что со мной говорит императрица всея Руси.

«Я умею хранить молчание, – сказала Мария Федоровна. – Можете рассказать мне все!» И вот это уже только две женщины, две души, страдавшие вместе в молчаливом дворце. С тех пор прошли годы, но и сейчас вижу, как наяву, прекрасные лучистые глаза, наполненные слезами.

Храню одно драгоценное письмо, спасенное не знаю уж какой случайностью или каким чудом среди полной гибели всего мне дорогого. Вдовствующая императрица оказала мне честь, послав собственноручное, написанное изящным почерком письмо, где еще раз выказывала мне свою симпатию. Письмо было подписано одним лишь именем – «Мария».

Как же я могу в эту годину великого национального траура, склоняясь благоговейно перед великой болью матери, вновь не сказать ей слова, с которыми я обратилась в одном давнем письме: «В тяжелые часы моей жизни драгоценное письмо Вашего величества мне да будет поддержкой. Со взглядом на Ваше имя, с сердцем у Ваших ног, я буду черпать в Вашем послании утешение и мужество».

Императрица Александра Федоровна, супруга Николая II, не смотря на свои высокие душевные качества и красоту, не обладала, однако, умением покорять сердца, как покоряла помимо своей воли Мария Федоровна.

Красивая, с величественной осанкой и уверенная в себе, царица Александра вызывала восхищение, но не «грела сердца». Ее манеры, речь были сдержанны и строги, даже холодны. Возможно, что подобную видимость создавала некая ее робость.

Первые впечатления бывают часто самыми яркими. Отчетливо помню день, когда имела честь быть представленной в первый раз императрице Александре. Ее величество приняли меня в Зимнем дворце, в своем личном салоне. Стоял зимний необычайно яркий день. Анфиладу великолепных и просторных залов заливало солнце. За широкими окнами дворца под сверкающим снежным покровом спала долгим зимним сном Нева. Прекрасные мосты, а также дороги, проложенные прямо по льду, соединяли противоположные берега. Сани с быстрыми рысачками, покрытыми красными, синими, зелеными попонами, пересекали Неву или скользили по набережным – любимым местам прогулок эlegantной публики. Напротив дворца, на другой стороне Невы, возвышалась Петропавловская крепость с тонким позолоченным шпилем, блестящим на солнце в синем небе. Солнечные лучи играли повсюду: на рамах картин, на позолоте и парчовой обивке стен, на всем великолепии искусства и цвета, зажигая искорки на киверах и изящных мундирах гвардейцев.

Как все это было мне знакомо с тех давних пор, когда в балльных залах дворца мой восхищенный взгляд скользил по великолепному убранству, очарованный ослепительным появлением семей царя и великих князей! Мужчины с прекрасной осанкой, дамы, полные очарования и грации, плавно дефилировали, сопровождаемые одним из самых блестящих дворов того времени. Под триумфальные звуки оркестра, при блеске люстр, небывалой красоты драгоценностей, мундиров и балльных сверкающих золотом платьев они появлялись с грациозной улыбкой, с некоторой мечтательностью во взгляде, с тем бесконечным очарованием Романовых, что присуще принцам в волшебных сказках.

Это было не только восхитительным спектаклем для глаз, но и воодушевлением для сердца, такого юного тогда!

Дверь, ведущая в апартаменты императрицы Александры Федоровны, широко раскрывается передо мною. Величественная и красивая дама поднимается с кресла. Сделав три придворных реверанса, я целую прекрасную белую руку, грациозным жестом пожимающую мою. Сидя напротив ее величества и беседуя с ней, могу рассмотреть ее без стеснения. Императрица восхитительна и свежа, как майская роза. Туалет нежного серо-голубого цвета оттеняет ее прекрасные глаза. В большом мягких тонов салоне повсюду цветы. Розы, пышные букеты красных азалий, утонченно пахнущие гиацинты такого же тона. На изящных диванах – подушки, гармонирующие с нежными оттенками растений. Что может быть более очаровательным для императрицы, чем это цветочное обрамление!

Лучи солнца золотили ее волосы и подчеркивали мраморную белизну тонких рук. Царица очаровательна, а ее прием – деликатен и внимателен. Но отчего же среди всех этих цветов с тонкими ароматами мне показалось, что близ меня прошла Снежная королева?

Глава III

Сейчас, когда я вновь пережила эти события, эти счастливые воспоминания, навсегда покрытые пеплом, рука моя дрожит, приподнимая занавес над другими воспоминаниями, другими образами, собранными в отчаянии.

В начале 1917 года жизнь, однако, шла почти своим обычным чередом. Каждый работал соответственно своим возможностям, мысли каждого были заняты войной. Порою наступал какой-то проблеск, радость: прибытие юных офицеров с фронта. Молодые люди, получив несколько дней отпуска, развлекались подобно детям, счастливые мгновениями жизни, так отличающейся от того, к чему им скоро предстояло вернуться. Как трогательно было видеть их вновь – бритые головы, блестящие от радости глаза... Они врывались, словно неожиданный порыв ветра, и бросались в раскрытые объятия. Никто не знал – следует плакать или смеяться?

Мы жили тогда в спокойном и красивом квартале на правом берегу Невы, и наш дом стал во время войны (как и многие другие) подобен военному гарнизону. Все друзья и товарищи моих племянника и сына побывали у нас. Сколько оживления, раскатов молодого смеха, воодушевления! Звон шпор, разбросанные военные фуражки, открытое пианино, музыка, песни – и сигареты, сигареты! Война в те моменты казалась бесконечно далекой, почти невозможной!

В феврале мой сын заканчивал военный курс в Пажеском корпусе его императорского величества. Сдав экзамены на звание офицера, он вступил в один из полков императорской гвардии. Гордясь им, я считала против своей воли дни, отделявшие нас от того торжественного момента, такого значительного в жизни молодого офицера и в жизни его матери тоже, момента, когда радость смешана со столькими переживаниями!

Время шло, дом наш становился все более просторным и молчаливым. Моя дочь ухаживала за ранеными солдатами в госпитале. Павел К***, наставник и друг моего сына, друг всей семьи, был далеко, у линии огня. Мой племянник, князь Д<абижа>, совсем еще мальчик, выглядевший блестяще в живописном мундире Кавказского полка, уже отбыл – радостный и беззаботный – на фронт! Скоро наступала очередь моего сына. Они были очаровательны, эти двоюродные братья, называвшие друг друга просто братьями (мой племянник рано остался без родителей), оба примерно одного возраста, очень высокие, стройные и, однако, очень разные. У одного – темно-каштановые волосы, большие серые очень красивые глаза, тонкие черты бледного лица, элегантные манеры. У другого, моего сына, – светлые пепельные волосы, правильные черты, оживленные темно-синими глазами с густыми бровями и ресницами. При высоком росте он имел лицо маленького *boy* [мальчик (англ.)], лицо, полное свежести и с очаровательной улыбкой. Его выразительный взгляд, однако, часто становился взглядом зрелого мужчины, серьезным и сосредоточенным.

Да, я боялась, что он покинет меня слишком быстро. «Мой кадет, мой прекрасный кадет!» Знаменательный день долгожданного выпуска наступил. В присутствии военных чинов, родителей и друзей молодые офицеры собрались в часовне на молебен, прозвучавший со всей торжественностью. Эта капелла, украшенная

Мальтийским крестом, служила некогда и для других славных церемоний, будучи основанной императором Павлом I по желанию Ордена мальтийцев во время их пребывания в России. Известно, что когда Мальта была захвачена турками,* Павел I незамедлительно оказал гостеприимство рыцарям, приняв титул Великого магистра Ордена. Память об этом событии хранилась всегда: часовня сберегла свое убранство, мальтийские кресты были вышиты даже на облачении священников. Те же кресты из белой эмали были затем введены Павлом I для офицеров Пажеского корпуса с приказом носить их на мундире в течение всей жизни, храня честь рыцарей. Кроме того, офицеры Пажеского корпуса носили золотое кольцо, снаружи покрытое простым металлом, и с выгравированной внутри надписью: «Один из...» (указывалось число друзей). По этому кольцу они узнавали друг друга в жизни, а может, узнают и сейчас – те, кому удалось избежать гибели.

В тот памятный день, объединенные единым чувством, они прошли в центр часовни, подтянутые и торжественные – перед клятвой, которую они должны принести царю и Отечеству, посвящая им жизнь до последнего вздоха. Они вставали на колени перед знаменем, целуя его. Я смотрела на сына и знала, что он вкладывал в клятву всю свою душу. Да, царь и Отчизна могли рассчитывать на верность и честь этих сыновей, родители которых, в свою очередь, уже доказали свою верность и честь. На сей раз царь, находившийся на фронте, не мог, как обычно, присутствовать на священной церемонии. Он послал телеграмму с сердечными поздравлениями «своим любимым кадетам», присваивая им звание офицеров армии. Телеграмму зачитали в большом зале в присутствии молодых воинов, серьезных, подтянутых, в мундирах, надетых впервые. Раздались восторженные «Ура!».

В тот момент я заметила сына. Он пересекал зал, направляясь в нашу сторону. Я никогда не видела его таким: казалось, что он еще больше повзрослел. Его лицо, воодушевленное бесконечным счастьем, с блестящим и гордым взглядом, было прекрасно. Он направлялся к нам с высоко поднятой головой, с белым крестом на сердце. О, несомненно, крест находился на нужном месте: его сердце было того достойно.

* В действительности – Наполеоном; турки захватили прежнюю резиденцию рыцарей, о. Родос.

«Это самый прекрасный день моей жизни!» – сказал он тихо, приблизившись к нам. Мы были не единственные, кто тогда восхищался им. Стоявший рядом с нами английский генерал спросил у своего соседа, глядя на моего сына: «Who is this fine boy?» [Кто этот красивый мальчик? (англ.)]. Я чуть было не закричала: «Это мой сын!».

Тем временем общественный настрой становился все более тревожным. С фронта приходили неприятные новости. Ходили глухие слухи о возможной нехватке хлеба. Прошли демонстрации перед булочными и на улицах, но без осложнений и без особых последствий. Однако что-то чувствовалось в воздухе – на душе было беспокойно...

Никто, естественно, не предвидел революцию, это неслыханное предательство, случившееся в разгар войны. Кто же хотел способствовать гибели своей страны? Однако кинжал уже был наполовину вынут из ножен: поджидался лишь подходящий момент, заранее предусмотренный, – чтобы нанести смертельный удар в спину Родины, грудь которой уже кровоточила.

Дни шли своим чередом. Мой сын находился в своем полку, неся службу с пылким усердием молодого офицера, «влюбленного» в своих командиров, в своих товарищей и солдат. Все для него там было таким «замечательным»! Он радовался, что быстро завоевал любовь полка, а для меня это звучало так естественно!

«Ты знаешь, – говорил он мне с сияющим видом, возвращаясь вечером из казармы, – солдаты любят меня, несмотря на то, что я очень строг во время учений!»

«Нонсенс! – отвечала я, чтобы его поддразнить. – К тому же – как ты о том знаешь?»

«Прежде всего, они улыбаются, если замечают меня. Потом, когда я свободен, то люблю беседовать с ними, рассказываю разные истории. Затем...»

«Затем?»

«Затем, если хорошая погода, после учений мы устраиваем между собою бег наперегонки. Ты не представляешь, как весело бегать с ними!»

«К сожалению, не представляю!» – меня убедили: я больше не могла сомневаться в том, что командир завоевал любовь своих подчиненных.

Однажды сын сказал мне: «Пойдем прогуляемся вместе! Я так горжусь тобой!». А как я гордилась им, шагая рядом, глядя на его раздумывавшееся от холода лицо, светло-серую каракулевою шапку с большой серебряной звездой! Высокая ростом, я казалась совсем маленькой рядом с этим «отважным рыцарем»! Глаза его смеялись, ничто пока еще не омрачало его ясный взгляд, такой чуждый и далекий от всего, что вскоре разразится вокруг нас.

Раз я осталась одна с дочерью. Сын был на службе в полку на другой стороне Невы, а мои слуги, имея свободный вечер, отправились в театр. Не прошло и часа, как мы увидели, удивленные, что вернулась моя горничная, бледная, чем-то потрясенная... «Стреляют! Стреляют!» – кричала она, словно обезумев. – Солдаты стреляют на другой стороне реки!»

«Кто? Что? Почему?» – спрашивали мы наперебой.

«Никто не знает!.. Солдаты, рабочие, казаки бегут вдоль Невского, студенты тоже! Отсюда не слышно ничего! Это слишком далеко! Но там!.. Там стреляют!» Она разрыдалась. Другие слуги не могли ничего добавить к услышанному.

Нежданная события при всей и без того напряженной жизни легли тяжким грузом на сердце. Мой сын находился в полку, следовательно, не на улице... Мысли носились вихрем. Что происходило в городе? Что послужило причиной волнений? Виною ли плохое снабжение, недостаток хлеба, о чем говорили в последнее время? Рассказывали также, что заводы бастовали из-за нехватки угля, что солдаты братались с рабочими, которые не хотели трудиться на войну. Слухи становились все более тревожными: столкновения действительно происходили в разных местах города. Обжигающее слово «революция» слышалось уже на улицах и леденило душу. Но мысли о ней мы отбрасывали, не желая соглашаться с ужасающей действительностью. Мы старались уверить себя, что волнения, организованные, возможно, агентами-provокаторами, социалистами или еще кем-нибудь, были только временными, безо всяких последствий, и что спокойствие вскоре восстановится. Царь находился на фронте, война продолжалась. Надо стремиться к победе!

Чаемое спокойствие не приходило. Мне достаточно было посмотреть на сына по возвращению из полка, чтобы понять, что «дела не идут». Группы рабочих бродили по городу. Вдруг поя-

вились красные флаги с устрашающими надписями. Положение усложнялось. Волнение, возбуждение захватили мои мысли.

На следующий день в шесть часов утра меня поднял телефонный звонок. Это был двоюродный брат, член Военного Совета генерал Г***, который дал мне понять, что мой сын не должен выходить из дома, и просил меня во что бы то ни стало его задерживать, ибо городской гарнизон взбунтовался и начал стрельбу. Я впала в отчаяние. Сын уже отправился на службу на другую сторону Невы, и ему предстояла долгая дорога. Все средства сообщения не действовали, поэтому нужно было идти пешком через бесконечно длинный Троицкий мост, подвергаясь опасности попасть под пули.

Слуги, приносившие все более чудовищные новости, изыскивали способы держать нас в курсе происходившего на другом берегу Невы. Разъяренные толпы рабочих охотились за полицейскими, гнались, преследовали этих несчастных вплоть до их жилищ, отыскивая их в укромных уголках, в подвалах или на крышах, безжалостно расправляясь с ними. Посты городских были подожжены: озверевшие горожане не останавливались в своей дикости, и многие добрые люди, абсолютно невинные и безупречные, погибли в тот день в огне. И – надо ли сказать об этом? – женщины, да, женщины с воплями мегер также участвовали в подобных актах.

Кто были эти чудовища, что за разнузданная толпа, что за дикая радость жестокой неограниченной «свободы»? Все тюрьмы были открыты и подожжены в тот день, подожжен был и Дворец правосудия, горевший два дня со всеми его архивами. К вечеру красные зловещие огни запылали в петербургском небе. Рабочие почувствовали себя хозяевами. Можно было видеть их темную массу, плывущую по улицам, без видимых, впрочем, беспорядков или нарушений.

Однако, как я узнала позже, рабочие одного большого завода убили в тот день полицейского, который лет десять нес службу в их квартале. Это был хороший человек, рабочие ценили его, разбирали с ним свои семейные дела, спрашивали у него совета, иногда даже просили его рассудить ссоры, никогда не сомневаясь в его честности. И все же они убили его – по той «простой причине», что этот человек совершил преступление, служа долгие годы

в полиции, и следовательно, «являлся угнетателем и врагом свободы народа»!

Мы провели тот день, часами не вешая телефонную трубку, с нервами на пределе, пока, наконец, смогли получить новости непосредственно от нашего дорогого «boy». Он добрался до полка без происшествий, обходным путем. Затем его отправили на сутки во главе отряда солдат своего полка в отдаленный пригород для охраны газового завода. Солдаты под его командованием дисциплинированно прибыли на завод. Сын им объявил о необходимости выполнении долга в настоящий момент, имея в виду положение в городе и опасность пожаров: необходимо было защищать завод и квартал от возможных врагов. Солдаты абсолютно поддерживали его.

Мы договорились, что сын будет многократно звонить в течение ночи и сообщать нам о своем положении. Он находился один в служебной комнате (солдаты – в помещении рядом) и мог сказать нам несколько слов. Первый звонок был назначен на полночь. На другом конце провода, который соединял нас через весь Петербург, ставший таким устрашающим, я чувствовала, видела молодое лицо с тревожным взглядом. Я догадывалась об этом, несмотря на его твердый, такой близкий голос, доходивший до моего слуха и говоривший со мной издалека... Какой долгий вечер, какая бесконечная тоскливая ночь, прошедшая в ожидании утра и возвращения сына!

Глава IV

Замечу, что и в самые отчаянные дни, когда город был погружен в хаос, телефон продолжал действовать день и ночь, что позволяло нам, несмотря на бои на улицах и в казармах, иметь бесценную возможность обмениваться новостями с родственниками и друзьями. Тяжелое чувство изоляции и покинутости казалось при этом более сносным.

Одна из самых поразительных новостей, правда, еще очень смутная, дошла до меня в завуалированном виде и без всяких доказательств. Но я была потрясена. Нет, это невозможно! Мы отка-

зывались верить телефонному сообщению двоюродной сестры: Николай II якобы отрекся от престола. Он не мог этого сделать, да и зачем? Событие сей огромной значимости, непонятное в то критическое время, не могло иметь под собою никаких оснований. Половина гарнизона, полки императорской гвардии – не сражались ли они с именем своего главнокомандующего на устах? Доказательство тому было тут, совсем рядом: отряды под руководством офицеров защищали свою воинскую честь в сражениях против революционеров! Зачем же тогда пролитая кровь, для кого шла эта борьба, вдруг ставшая бесполезной?!

...Один из наших родственников, молодой офицер, вошел в салон. Его неожиданный приход в такое опасное время поразил нас.

«Вы неправы, – сказал он, – что остаетесь взаперти, вместо того чтобы дышать свежим воздухом. Пойдемте погуляем, это позволит и вам увидеть происходящее в другом свете!»

Я смотрела на него как на безумного. Он был бледен, что-то лихорадочное мерцало в его взгляде.

«Все кончено, – заявил он. – Все вернулось на круги своя. Бояться нечего. Борьба завершена, солдаты побратались с народом».

«А императорская гвардия?»

«Тоже...»

«А полк X?» – я назвала полк моего сына.

«Он был последним, кто продолжал сражаться, и последним, кто перешел...»

«На сторону революционеров?»

«Естественно. Пропаганда социалистов достигла своей цели».

«А... Царь?» – промолвила я срывающимся голосом.

«Ходят слухи, что его величество едет с фронта. Слишком поздно! Но говорят много чего! Что происходит на самом деле, неизвестно. Впрочем, совершенно очевидно, что в настоящий момент в столице восстановлено спокойствие. Рабочие поддерживают порядок. Солдаты веселыми компаниями прогуливаются по городу на конфискованных сегодня утром машинах. Полагаю, что и ваша машина, – добавил он с горькой усмешкой, – была любезно предоставлена им вашим же шофером».

«Он убедил меня, что это только в служебных целях и что нам ее вернут позже».

«Как и мою шпагу, если она попадет им в руки!» – ответил мой молодой кузен. Я заметила, что при нем шпаги не было.

«Солдаты начали разоружать офицеров, – губы его дрожали. – Предпочитаю, чтобы они не трогали мою шпагу, особенно если она при мне. Они не получают ее!»

«Вы ее спрятали?»

«Возможно».

После такого разговора я бросилась к телефону, не в силах ждать полуночи, времени, установленного с сыном. Мне надо было немедленно знать его положение! Там, на отдаленной окраине, он совершенно не представлял себе, что произошло в городе. Сын был потрясен, когда я сообщила новости, – он отказывался верить, не мог допустить, что императорская гвардия и его полк тоже перешли на сторону взбунтовавшихся солдат... Он добавил, что еще днем его дядя, генерал Г***, сообщил ему ободряющие новости и поздравил с достойным и храбрым поведением его полка.

«Погоди, – завершил он. – Я сейчас позвоню в полк и узнаю, что там происходит».

Чуть позже он сообщил мне, что ему никто не ответил, и что все посты хранили молчание.

«А твои солдаты?» – спросила я.

«Они молчат, но мне кажется, что знают о происходящем».

«Не будет ли лучше пойти к ним и прямо рассказать о случившемся?»

«Конечно, – ответил он. – Я сам намеревался сделать это. Но... Мне трудно заставить себя говорить об этом унижении, об этом преступлении».

«Эти чувства, – сказала я, – спрячем на время в наших душах».

«Я оставляю тебя до полночи. До свидания...» – его голос звучал напряженно.

Казалось невозможным оставаться в стенах дома. Надо было бежать, надо «прогуляться», как предлагал наш молодой кузен, надо узнать последние новости. Мы вышли на улицы, белые от снега, блестящего под электрическим светом. После дневных беспорядков они казались странно молчаливыми, почти пустынными и бесконечно длинными. Небольшие группки собирались

на углах. Время от времени бесшумно проезжали по снегу автомобили, заполненные веселыми солдатами, матросами и какими-то штатскими. Мы встретили несколько военных автомобилей, имевших весьма театральный вид, – солдаты буквально лежали на подножках с обеих сторон машин, горизонтально держа угрожающие ружья и явно желая произвести впечатление. На одном углу многочисленная толпа окружила автомобиль. Человек, забравшись на машину, разбрасывал листовки, покрывавшие землю вокруг, и беспрестанно кричал: «Последняя потрясающая новость!». Пробегаю листовку глазами – ужасная новость о крахе всякой надежды только что казалась невозможной – но больше сомнений не было! Вот она, ужасная действительность! Николай II отрекся от престола Российской империи... Машинально, не в силах произнести хоть слово, мы побрели далее, сосредоточенно глядя на пустое пространство, расстилавшееся перед нами.

Не отдавая себе отчета, мы оказались на берегу Невы близ Троицкого моста. Широкая река с точками фонарей, там, где прямо на льду были проложены переправы, с перекинутыми широкими мостами, заполненная светом, – эта величественная река, коронованная Петром Великим, спала в тени зимней ночи с безмерным и трагическим спокойствием, не подозревая о том, что случилось в судьбе Петербурга, в судьбе Империи.

Мои мысли и взгляд устремились за Неву, к огромному и темному Зимнему дворцу, едва видимому в ночи. В тот момент одно воспоминание пронеслось в моей памяти: молодая и спокойная женщина, красивая, как роза в солнечных лучах... Вдруг глухой неясный шум тяжелых шагов и шепот привлекли наше внимание. Плотная толпа рабочих черной массой выходила из одной боковой улицы. Не подав виду, что беспокоимся из-за их присутствия, мы продолжали свой путь, но с ощущением крайней опасности: расстояние между нами и толпой уменьшалось с каждым шагом. При этом я чувствовала, я знала – как бывает в дурных снах, – что ни в коем случае не следует поворачивать обратно. Мы в полном молчании шли навстречу толпе.

Едва мы ее миновали, как сзади раздался голос, скорее неуверенный: «Господин офицер... Господин лейтенант...». Затем другой, более смелый возглас: «Господин офицер, снимите погоны!».

Тогда тот, кто шел впереди толпы, худой рыжебородый человек лет сорока с серьезным и холодным взглядом подошел к нам: «Господин офицер, вы вооружены?».

«Нет».

«Вы можете дать слово?»

«Даю вам слово».

«Он врет, он врет! – закричали в толпе, уже окружившей нас. – Он врет, надо обыскать его!»

Рыжебородый повернулся к рабочим: «Говорить буду я – оставьте мне мое дело».

«Господин лейтенант, – продолжал он спокойно, – мои товарищи подвергают сомнению ваши слова, так как сегодня вечером у нас уже произошел ряд очень неприятных случаев. Встретив нескольких офицеров, мы задали им тот же самый вопрос, что и вам. Господа офицеры предпочли солгать, лишь бы не отдавать нам оружие. Мы были вынуждены обыскать их, и, естественно, небезрезультатно. Плохо им пришлось – отобранные револьверыгодились нам для того, чтобы разрядить их им в виски... Они были так же молоды, как и вы, господин офицер».

Возмущенно поджав губы и сверкая глазами, мой кузен резким движением распахнул шинель, показывая грудь и свою стройную фигуру. «Я лгу?» – воскликнул он.

В тот же момент – Боже мой! – я заметила артиллерийский кортик, висевший на позолоченных цепочках с левой стороны пояса.

«Не сердитесь, господин лейтенант, – сказал хладнокровно рыжебородый. – Мы не ищем ссоры с вами. Мы хотим лишь справедливости и правды. Теперь же, – добавил он, поворачиваясь к нам, – вы можете спокойно продолжать свой путь. Ночь прекрасна, город тих, вам нечего бояться. Приятной прогулки!»

Они ушли. Сегодня, как и в тот вечер, восемь лет назад, я спрашиваю себя: кто был этот рыжебородый? И как можно, что никто не заметил висевший на виду офицерский кортик, о котором кузен в тот роковой момент совершенно запамятовал. Была ли это милость судьбы или милость вожака рабочих, быть может, пожалевшего двух женщин, а может, пожалевшего и молодого офицера, что распахнул шинель с такой искренностью и смелостью пе-

ред толпой врагов? Кто знает? Может, в тот вечер последняя искорка совести пробудилась на миг в их сердцах?

В полночь позвонил сын, сообщивший, что неподалеку от них разгорелось три пожара, один – довольно близко. К счастью, пожарные выполняли свой долг без какого-либо препятствия со стороны рабочих, осознававших опасность, которую представлял газовый завод при пожаре.

Мой сын счел необходимым поговорить со своими людьми, призывая их к выполнению служебного долга, бывшего одновременно долгом по отношению к народу. Он объявил о переменах, произошедших в полках, веками бывшими образцом храбрости, честности и верности старым традициям. В заключение он сказал: «Если вы уйдете, я останусь один выполнять свой долг. Даю вам возможность обдумать это и надеюсь, что вы остались такими, какими были: воинами чести, достойными нашего старого полка». Спустя некоторое время пришли два делегата и попросили своего командира полностью на них рассчитывать.

Долгое тяжелое время протекало в ночной тишине. Каждый раз, когда били часы, наступало словно пробуждение, возвращение к действительности, – каждый раз горько сжималось сердце. Иногда приходило забытье, несмотря на открытые глаза, все видевшие. Молодой кузен, как заведенный, ходил вдоль и поперек салона, останавливаясь иногда у затухающего огня и бросая туда сигарету, после чего вновь начинал ходить по коврам своей мягкой походкой. В углу нашего «арабского зала» под мягким красным светом восточной лампы, сжавшись в комочек на одном из низких диванов, неподвижно сидела моя дочь Мара. Она тоже не спала.

Никто не разговаривал. Мысль преодолевала усталость, отрывками вставляли пережитые сцены и события... Царь отрекся от трона империи... Сверкающая от снега улица, рабочий с рыжей бородой, с холодным взглядом и монотонным голосом: «...они были так же молоды, как и вы, господин лейтенант... они предпочли умереть...». Кортик на поясе, грудь, открытая врагу. Мой сын совсем один там... сколько еще пройдет времени до его возвращения? Он позвонил в восемь часов, затем в десять, сообщив, что полк не отвечает, и что его люди после прошедших 26 часов не хотели больше ждать смену, так и не появившуюся. Некие де-

зертиры чуть было не увели его солдат, однако мой сын, как он рассказал нам позже, еще раз напомнил о долге и о данном слове. «Я привел вас сюда в полном порядке, согласно уставу, – объявил он, – и надеюсь, что мы вернемся в подобном же порядке».

Солдаты выстроились, мой сын стал во главе отряда: так они и прошли по городу – к удивлению тех, кто в течение двух дней не видел солдат под командованием офицера и не мог себе представить, что можно встретить отряд с офицером во главе в такое время. Это стало из ряда вон выходящим событием – они вошли в полном строю во двор казармы, где солдаты в гимнастерках нараспашку орали, опьяненные полученной свободой, не отдавая более честь офицеру и ухмыляясь.

Не удостоив их взглядом, мой сын обратился к своим выстроившимся воинам: «Рад, что могу объявить перед вашими товарищами, что вы исполнили долг чести, как и надлежит солдатам нашего полка. Благодарю вас!» – после чего удалился в офицерскую комнату. Он уже знал, что офицеры покинули полк, сдав оружие. Это было 12 марта, день, когда в городе началось разоружение генералов и офицеров, за которым последовали многочисленные убийства.

Военные в России не имеют права носить гражданскую одежду и никогда не оставляют ни мундиров, ни оружия. Можно представить отчаяние тех, кто отдал оружие, дабы не быть обезоруженными неизвестно кем! Сколько старых генералов, храбрых и честных, грудь которых покрыта военными орденами, погибли, защищая свое оружие от штыков и револьверов солдат! Сколько молодых офицеров, совсем недавно надевших погоны, были тогда убиты!

...В офицерской комнате мой сын снял саблю, которую он имел честь носить всего лишь месяц, положил ее рядом с саблями своих товарищей и ушел.

После 30 часов отсутствия он наконец возвращался домой. Мы ждали, напряженно прислушиваясь к малейшему движению лифта. Ему приходилось возвращаться пешком, в то время как солдаты разъезжали на автомобилях. Они сновали беспорядочными группами, без офицеров, с кокардами и красными бантами на фуражках, бескозырках или на груди и цепляли их всем прохожим. Красный цвет, цвет крови, растекался повсюду, ужасный и отвратительный!

Офицеры избегали появляться на улицах. Один из них, мой сын, торопился в тот момент прийти домой. По возвращении он рассказал нам, что ему пришлось пережить на Троицком мосту. Автомобили, полные людей, проезжали по нему беспрерывно. За метив офицера, солдаты замедлили движение и, посмеиваясь, направили на него оружие. Игра продолжалась вдоль всего моста – целая вечность! Он продолжал идти, слыша все их угрозы и распри, дошедшие до споров: «Кому достанется прикончить этого офицеришку!». Среди них, слава Богу, нашелся один солдат, отговоривший их от такого намерения.

Телефонный звонок! Снова генерал Г***, желавший узнать новости о моем сыне и сообщивший, что офицеры получили строжайший приказ не показываться на улицах. Я ответила, что он, вероятно, возвращается домой после службы. Мой кузен, как и я, был в отчаянии. Генерал сообщил мне одну вещь, меня потрясшую. Император вовсе не отрекался от трона! Эту заранее продуманную ложь распространяли для возмущения армии. Вынудив царя ее оставить и пользуясь возникшими беспорядками, подлые людишки совершили государственный переворот, а потом уж заставили императора... О, какое бесчестье! Какое предательство!

Дверь резко распахнулась. Мой сын стоял предо мной. Бледный как смерть, запавшие глаза, осунувшееся лицо – он выглядел стариком. На груди – красная кокарда. Он с яростью сорвал ее, упав к моим ногам. Положив голову мне на колени, он рыдал: «О, мама, мамочка! Ведь почти вчера я поклялся ему в верности, я принес присягу!».

День, когда мой сын, избежав всех опасностей, вернулся со службы, был тяжким днем как для военных, так и для гражданских. Солдаты шарили по всему городу, врываются в частные дома, конфискуя оружие. Наш добрый толстый швейцар, по-прежнему в синей форме с галунами, вбежал, задыхаясь, предупреждая нас о том, что идут солдаты, разыскивающие офицеров, у которых они срывали погоны и отнимали оружие. Швейцар умолял нас спрятать все имеющее отношение к вооружению, умолял офицеров спрятаться самим.

Русские люди дорожат старинным оружием, особенно фамильным. Невозможно снять такую коллекцию со стены, –

да и как ее спрятать? Мы прислушиваемся к тяжелым шагам «товарищей». В приоткрытую дверь показалось доброе круглое лицо с раскрасневшимися щеками – это наш Иван. Глаза его блестящие, он широко и радостно улыбался, разводя руками: «Они ушли! – шептал он заговорщически. – Я поклялся, да простит меня Бог, что господа офицеры уехали в Думу, а женщины больны. Они мне поверили на слово, дураки, ведь я для них – приятель, «товарищ», как они говорят!». Его добрый взгляд стал хитрым, как у ребенка.

Славный Иван! Можно ли забыть его доброе столь преданное сердце! А ведь в юности он тоже был солдатом, однако он любил наших мальчиков и их друзей! Его лицо радостно оживлялось, когда он видел их возвращающимися домой, он гордился ими, словно эти молодые офицеры являлись его личными командирами! Все мы тоже были привязаны к Ивану как друзья. Были друзья, стали – «товарищи»...

Но «добрые Иваны» были редкостью в те дни! В войну сердце солдата, прежде доброе и прямодушное, окаменело. Революция, взбудоражив его обманом, дала солдату страшное оружие – большевизм, бросив его затем в пучину братского кровопролития.

Посвящается Италии

Ночь на Неаполитанском заливе

Неаполь спит, еще спит. Смотрю на него с балкона, нависающего над заливом. Ночь почти ушла, и рассвет уже близок, ибо легкое дыхание, ветерок – предвестник, посланник Востока, коснулся моего лица, не спугнув звезд, сверкающих своим самым изумительным блеском. Особенно одна, вот тут, передо мной, – огромная, светлая. Ее свет отражается длинной серебристой дорожкой в неподвижном море, которое почти не дышит... Слышен только шепот, мягкий плеск о скалы Due Frati [Два монаха], обнажающие свои гладкие головы перед звездным небом.

В саду ничто не движется. Черные благоухающие деревья погружены в сон. Полная тишина. На изгибе залива – Неаполь

со своим сверкающим ночным колье, усеянном белыми, красными, зелеными огнями. Город тянется до клубящегося паром берега – до царства Везувия. Он не спит, наш великолепный предок! Вопреки своему возрасту он сохранил горячее сердце, всегда открытый и горящий взгляд, огненные слова на устах... Неаполитанский темперамент, может быть? *Chi lo sa?* [Кто знает?] Сейчас он почти не виден, едва выделяясь в ночи, влюбленной, мягкой и нежной, как бархатное покрывало.

Но что это? Слышится плеск воды. Удары весел нарушают тишину. Скользит и исчезает тень, рыбацкая лодка, несомненно, уходящая в открытое море. Вдруг над водой раздается голос, *una canzone* [песня], трепещущая и полная страсти: «*Facimm'ammore a core, a core*» [Полюбим сердцем к сердцу], очаровательная мелодия, которую невидимый рыбак уносит с собой, далеко, далеко, под Млечный путь. В ответ на этот призыв молодости просыпаются на воде другие рыбаки, зажигают красные фонари и направляют лодки в открытое море, подхватывая летящую мелодию: «*Facimm'ammore a core, a core...*».

Нет, это уже не сон! На заливе ночью живешь двойною жизнью! Все здесь огонь: «*canzone*», любовь, звезды и, может быть, слезы... Еще раз чувствую дуновение ветерка на веках. Вот и рассвет. В бледных лучах света вырисовывается профиль древнего Везувия. Фиолетовая ночь еще царит на западе, но море уже окрашивается под лучами рождающейся зари. Как прекрасно пробуждение утра! Мягко, плавно оно открывает широкий веер перламутровых цветов с голубыми, фиолетовыми, розовыми лучами и, склоняясь над прекрасным дитем Италии, уснувшим в самой красивой в мире стране, оно оставляет пурпурный поцелуй на его сияющем лбу.

Да будет оно благословенно, средиземноморское дитя в своей вечной красоте! Пусть живет оно воспетым, пусть улыбается на радость человеческим сердцам! Пусть золотой свет блеснит в его глазах, так же, как он блеснит в великолепном небе!

O Sole mio! Sta n'front a te! [О мое солнце! Оно на твоём челе!]

От одной мечтательницы – другой, еще большей дорогой мечтательнице!

Неаполь. Позиллипо. «*Ai Due Frati*». Июль 1924 г.

Постскрипtum

...Как известно, поиск не знает границ. В 2011 г. после выхода нашей книги «Под чуждым небосводом» я получил с Украины письмо от Евгения Павловича Мороза (Кременчуг), в семье которого имя автора мемуаров, Екатерины Ростковской, было на слуху – его бабушка жила в доме Ростковских в Одессе в 1905-1919 гг., так как брат бабушки работал у Ростковских гувернером детей.

Приведем отрывки из этого интересного письма:

...С весны 1898 года в семинарии [Полтавы] стали появляться запрещенные книги, а после 1900 года и ленинская «Искра», в распространении которой брал участие и Павел [Комличенко], со слов [его сестры] Александры, моей бабушки. Революционные беседы обычно велись в городском саду или в доме у семинариста Камличенкова (так на принятый лад писались тогда фамилии). Весной 1902 года семинария оказалась в центре волнений. Бунтующие семинаристы не добились выполнения своих требований, но часть участников, в том числе и Павел, были исключены из семинарии. Исключенные оказались в категории людей с «волчьим билетом». Как дальше зарабатывать на жизнь? Самый распространенный среди бывших студентов путь – репетиторство. [...] Дальше судьба распорядилась так, что к концу 1904 года молодого статного, видного, бывшего семинариста взяла гувернером к своим детям Марии и Борису (Бобу) княгиня Екатерина Ростковская (тогда писалось так), жившая в Одессе на улице Новосельской. Дети, очевидно, почувствовали новому учителю, а между Екатериной и Павлом возникла стойкая длительная взаимная симпатия. Так жизнь Павла оказалась постоянно связанной с семьей княгини. Своей семьей Павел так и не обзавелся.

Павел приглашает в Одессу сестру Александру: с 1 января 1905 года по 1 ноября 1919 года Александра работает в 47-м народном училище учительницей и живет в доме Екатерины. Училище находилось в районе жгутовой фабрики. Точный адрес дома подтверждает запись в паспорте Александры в месте для прописки видов полицию: «Одесса. 25/8 1915 года яв-

лен в Херсонский полицейский участок из дома Раствовского, 12 по Новосельской улице».

Подробностей Александра рассказывала мало. Помню, что в доме хранился «Кобзарь» с посвящением Т.Г. Шевченка: «Княгині Насті від Тараса» (вероятно, княгиня Анастасия Александровна Дабижа, мать Екатерины Ростковской. – М. Т.). Рассказывала, что ходила носить передачи матросам с броненосца «Потемкин». Видела царя Николая Второго, говорила, что он был рыжий, и с виду показался ей обыкновенным человеком. На улице Новосельской находилась и резиденция главаря одесских жуликов Мишки Япончика. Александрю знали и сказали ей: «Ходите спокойно, мы вас не тронем». Александра вспоминала, что в доме еще жил молодой человек, по-видимому, родственник погибшего мужа Алек Раствовский, его судьба неизвестна.

25 октября 1911 года Александра вышла замуж за студента Новороссийского университета (сейчас имени Мечникова) Михаила Ивановича Брашевана, молдаванина, 1887 года рождения, урожденного в с. Братское Одесской обл. Михаил занимался воздухоплаванием в первом в Империи одесском аэроклубе, летал, как-то принес домой кусок пропеллера. 2 октября 1913 года у Михаила и Александры родилась дочь, которую в честь княгини назвали Катей (Одесса, 1913 – Кременчуг, 1995). Это моя мать. [...]

До 1928 года княгиня поддерживала связь с Александрой, прислала два письма, звала уехать с дочерью к ней в Италию, но все связи пришлось прервать, в то время это уже было чрезвычайно опасно.

Александра опасалась рассказывать, но я ощущал, что годы в Одессе были лучшими в ее жизни.

Публикация Эннио Бордато (Роверето), Михаила Талалая (Неаполь)

